

ОБРАЗ И ЯЗЫК В ПСИХОАНАЛИЗЕ*

ПОЛЬ РИКЕР

Цель моего выступления состоит в том, чтобы оценить предпринятые некоторыми современными теоретиками попытки переформулировать психоаналитическую теорию в терминах лингвистических моделей, заимствованных либо из структурной, либо из трансформационной и генеративной лингвистики. Я выбрал следующий способ аргументации. Вначале я представлю доводы в пользу лингвистического переосмысления, останавливаясь, главным образом, на аналитической практике и – шире – на аналитическом опыте. В то же время я попробую объяснить, почему фрейдовская метапсихологическая теория отстает от его собственной практической работы в том, что касается признания семиотического измерения психоанализа.

Во второй части доклада, отталкиваясь от частичной неудачи таких лингвистических переформулировок, я попытаюсь продемонстрировать, что сфера дискурса, соответствующая аналитическому опыту, – это не сфера языка, а сфера образа. Как мы увидим, этот тезис не прямо противоположен лингвистическому. Однако, к сожалению, мы не обладаем адекватной теорией образа и воображения, способной объяснить это открытие; точнее, мы не имеем теории, которая бы объясняла семиотические аспекты образа, подлежащие раскрытию. Вот почему в тот момент, когда лингвистика продвинулась значительно дальше других гуманитарных наук, нам не оставалось ничего другого, как приписать все, что имеет знаковый характер, языку. Но, поступая так, мы упускаем из виду – так же, как и чисто экономические интерпретации, хотя и в ином смысле – подлинное открытие психоанализа. То есть мы не замечаем тот семиотический уровень, который касается образов и воображения.

Поэтому вторая часть доклада не будет опровержением первой – в той степени, в какой доводы в пользу языка являются фактически доводами в пользу семиотических аспектов аналитического опыта. Скорее, это будет попытка переориентации тех же аргументов в

* Публикуемый текст представляет собой первую лекцию прочитанного Полем Рикером публичного курса «Перспективы психоанализа», состоявшуюся в октябре 1976г. в Чикаго. Курс был организован Чикагским университетом и Чикагским институтом психоанализа. Перевод выполнен по: Psychoanalysis and language, ed. J.H.Smith, New Haven, 1978.

направлении, которое я назвал бы семиотикой образа и теорией воображения.

Доводы в пользу лингвистического переосмысления психоаналитической теории исходят прежде всего из переворачивания отношений между метапсихологией и тем, что можно назвать аналитическим опытом в широком смысле, если объединить в этом понятии то, что сам Фрейд называет процедурой исследования и методом лечения. Поэтому я предлагаю начать перечисление аргументов, рассматривая их в порядке удаления от аналитической практики. При этом сама теория будет рассматриваться как своеобразный метаязык психоанализа.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК РЕЧЕВОЕ ОТНОШЕНИЕ

Прежде всего, аналитическая ситуация сама может быть охарактеризована как речевое отношение. «Лечение» есть *talk-cure*, лечение разговором. Психоанализ существенно отличается от всех других терапевтических методов своим подлинным аскетизмом, который он накладывает на анализируемого. Последний помещен в ситуацию, где влечение вынуждено говорить, где исключается как замещающее удовлетворение, так и любая попытка ускользнуть в открытое действие.

Эта простая предпосылка аналитической практики нагружена теоретическими последствиями. То, что кажется вначале лишь ограничением, свойственным аналитической технике, скрывает в себе теоретическое требование, а именно: включать в номенклатуру теоретических сущностей только те психические реальности, которые могут быть выражены в языке. Если теория говорит об инстинктах и импульсах, то никогда – в терминах физиологических феноменов, но всегда – в терминах значений, допускающих расшифровку, перевод и интерпретацию. Другими словами, психоанализ знает влечение только как то, что может быть высказано.

Давайте проясним это утверждение. Оно ни в коем случае не означает ограничения человеческого опыта, который тем самым сводится к дискурсу. Напротив, оно означает расширение семиотической сферы до темных границ молчаливого желания, предшествующего языку, поскольку психоанализ стремится восполнить этот до-вербальный опыт, пропуская его через последующие символические конструкции, которые обеспечивают ему более длительное существование.

Можно даже сказать, что психоанализ расширяет язык за логические пределы рационального дискурса в направлении алогичных областей жизни, и что тем самым он заставляет говорить ту часть нашего существа, которая не столько нема, сколько вынуждена молчать.

Во-вторых, аналитическая ситуация заставляет влечение высказываться другому человеку. Она предоставляет влечению то, что Фрейд в одном из своих текстов называет «площадкой, на которой оно (компульсивно повторяющееся влечение пациента) может распространяться с почти полной свободой» (S.E., 12: 154). Почему же аналитическая ситуация способна переориентироваться от повторения к

воспоминанию? Потому что она сопровождается личными отношениями в процессе перенесения. Влечение не просто высказывается, оно высказывается кому-то, другому человеку. Эта вторая предпосылка аналитической практики также не свободна от теоретических импликаций. Она обнаруживает, что с самого начала человеческое влечение есть, пользуясь гегелевским выражением, влечение к влечению, влечение к другому человеку, и, наконец, влечение к признанию. Эта отнесенность к чему-то иному, чем оно само, является определяющим для влечения постольку, поскольку оно является эротической потребностью. Открытие Эдипова комплекса во фрейдовском самоанализе не имеет другого смысла: влечение структурировано как человеческое только тогда, когда оно включено в отношения переноса, предполагающие игру двух полов, трех субъектов, запрещения, желания, смерти, утраченного объекта и т.д.

Следовательно, психоаналитическая теория не соответствует открытию, сделанному психоаналитической практикой, когда она предлагает чисто энергетическое определение влечения в терминах напряжения и разрядки и когда она не принимает в расчет интерсубъективность. Теоретическая модель игнорирует не только язык, но и другого человека, поскольку говорить означает обращаться к другому.

В заключение этого обсуждения аналитической ситуации разрешите мне добавить, что анализируемый получает возможность рассказать о себе, лишь разговаривая с другим человеком. Поэтому говорить о себе в психоанализе означает двигаться от непонятного рассказа к понятному. Анализируемый подвергается анализу не просто потому, что он страдает, а прежде всего потому, что он страдает от симптомов, поступков и мыслей, которые не имеют для него смысла и которые он не может связать в последовательный и понятный рассказ. И весь психоанализ – это только реконструкция контекста, в котором эти симптомы, действия и мысли имеют смысл. Таким образом, создавая для них с помощью речевой работы соответствующую рамку, в которой они становятся приемлемыми, психоанализ интегрирует их в историю, которая может быть пересказана; и мы можем, вслед за Маршаллом Эдельсоном, описать аналитический процесс как «отрицание сиюминутных событий или непосредственных смыслов как достаточных оснований для понимания таких действий» и замещение их «более отдаленными или давними событиями и более широкими контекстами, символически реконструированными (в соответствии с иными нормами) действующим лицом» (*Edelson, p.55*).

Эта работа разрушения и восстановления контекста, главным образом, с использованием «символизаций, созданных в детстве» (*ibid.*), предполагает, что анализируемый должен рассматривать свой опыт в терминах текстов и контекстов, – то есть, что он включается в семиотическое прочтение своего опыта и поднимает свой опыт на уровень приемлемого и понятного рассказа или истории. До сих пор эта повествовательная структура человеческого опыта не получила в психоаналитической теории того признания, которого она заслуживает,

несмотря на то, что существенная часть аналитического знания заключена о описаниях случаев. Это настолько очевидно, что позволило эпистемологу Мишелю Шервуду заявить, что эпистемология психоанализа должна начинаться с описания случаев и условий понимания их сюжетной структуры и затем продолжаться теорией, которая лишь добавляла бы недостающие объяснительные сегменты в принципиально повествовательную структуру понимания. Я здесь не буду затрагивать этот эпистемологический аспект проблемы, но хочу сохранить в понятии описания случая весь тот смысл, который касается отношений языка и аналитического опыта. Если Фрейд может описывать истории своих пациентов, то только потому, что любой аналитический опыт лежит в сфере определенного дискурса, который может быть назван повествовательным. Пациент пересказывает свои сны и эпизоды своего прошлого. Он пересказывает то, что он не понимает, до тех пор, пока не начинает понимать то, что он пересказывает. Таким образом, весь аналитический опыт пересекается дискурсивной модальностью, что заставляет нас признать, что анализ – всегда повествовательный анализ или аналитическое повествование.

Давайте теперь немного отвлечемся от аналитической ситуации и представим себе то, что в сочинениях самого Фрейда названо исследовательской процедурой. Тем самым мы лишь отдаляемся от наиболее формальных аспектов аналитических отношений и погружаемся в настоящую толщу аналитического опыта. Кроме того, мы несколько отдаляемся от непосредственного содержания патологических эпизодов, чтобы дать возможность возникнуть символическим констелляциям, которые сначала неизвестны анализируемому и которые позволяют нам подтвердить интеллигибельность тех проблем, от которых он страдает.

Что на этой стадии интерпретации и объяснения говорит в пользу лингвистического переосмысления теории в целом? Важно, что анализ заключается не просто в слушании чьей-то речи, но в слушании необычной речи анализируемого, который интерпретирует свои симптомы как другой дискурс, даже как дискурс кого-то другого. Идея о том, что бессознательное структурировано как язык, в том смысле, что оно может быть понято как иной тип дискурса, – идея, которая нашла наиболее полное выражение в работах Жака Лакана, – составляет центральный тезис лингвистической реформулировки психоанализа.

Давайте рассмотрим, в какой степени сочинения Фрейда могут подтвердить такое переосмысление.

Еще до «Толкования сновидений», которое будет служить ключевым документом для моего обсуждения, в «Исследовании истерии» впервые предложена концепция, которую можно назвать семиотикой симптомов. В «Предварительном сообщении» 1893 года Фрейд устанавливает символическую связь между побудительным мотивом и истерическим симптомом. Затем он устанавливает параллель между этой символической связью и процессом сновидения. Как явное содержание сновидения

символ имеет значение X, но его сигнификативная функция состоит в скрытом напоминании. Следовательно, Фрейд говорит о «мнемонических символах» (S.E., 2: 90-93), чтобы резюмировать мысль, что симптом, поскольку он является символом¹, есть мнемонический заместитель травматической сцены, воспоминание о которой вытеснено. Мнемонические символы являются средствами, с помощью которых травмы продолжают существовать в искаженной форме симптомов, и семиотическая природа этих мнемонических симптомов подтверждается самим анализом. Иными словами, симптом может быть заменен дискурсом, например, боль в ноге может быть эквивалентна лингвистическому отношению между влечением пациента и родительской фигурой. Кроме того, связь между симптомом и лингвистическим выражением часто подтверждается метафорическим значением слов в том случае, когда обозначение психического состояния в телесных выражениях каким-то образом перенесено в язык уже после того, как оно было похоронено в теле посредством истерической конверсии. Так, не говорим ли мы, когда чувствуем себя оскорбленными, что нас облили грязью? Или, когда мы потеряли надежду, что у нас руки опускаются?

Эта возможность перевода истерического симптома в метафору – возможность, которую Фрейд понял очень рано, – является проявлением универсальной черты семиотического измерения, досконально изученного Фрейдом, а именно: бесконечной замещаемости одних знаков другими. Сновидение – первое звено той семиотической цепи, которую я хотел бы рассмотреть, и в которой оно может быть заменено на симптом, легенду, миф, пословицу или извращение.

Идея о том, что сновидение должно быть своего рода текстом, интерпретируемым как *другой* дискурс или как дискурс *Другого*, находит многочисленные подтверждения в «Толковании сновидений». Прежде всего, именно это предположение придает смысл самой задаче, которую Фрейд ставит перед собой, называя свое исследование «толкованием» (*Deutung*), а не объяснением (*Erklärung*):

«Я задался целью показать, что сновидения доступны толкованию... «Истолковать» сновидение значит раскрыть его «смысл», заменить его чем-либо, что в качестве полноценного и полноправного звена могло бы быть включено в общую цепь наших душевных процессов»² (с.80).

Это сходство задач интерпретации сновидения и интерпретации текста подтверждается тем, что анализ занимает место между рассказом о сновидении и другим рассказом, который относится к первому так же, как поддающийся прочтению текст к неподдающемуся прочтению ребусу, или как текст на нашем родном языке к тексту на иностранном языке.

¹ Правда, Фрейд не продолжал разрабатывать понятие *символ* в этом направлении, которое осталось в сфере культурных стереотипов, обнаруживаемых «типичными сновидениями». См. ниже.

² Здесь и далее цит. по: З.Фрейд. Толкование сновидений, М., 1913. – Прим. перев.

Во-вторых, семиотический характер сновидения подтверждается тем, что Фрейд обозначает как материал сновидения. Действительно, как это ни удивительно, он без колебаний говорит о *мыслях*, скрытых за сновидением. Сразу же после заявления о том, что сновидение есть «исполнение желания», он задает вопрос: «Каким изменениям подвергаются мысли, скрытые за сновидением, превращаясь в явное сновидение, которое мы помним после пробуждения?» Легко увидеть, почему скрытое содержание названо мыслью: сновидение, истолкованное как «исполнение желания», становится понятным, если стремление к достижению цели или удовлетворению желания рассматривается нами как бесспорная аксиома, которая полностью определяет наше понимание человеческих действий³.

Следовательно, указать, скрытым удовлетворением какого влечения является сновидение, значит восстановить контекст, в котором оно становится понятным. Поэтому в той степени, в какой влечение способствует пониманию сновидения, оно может быть названо «мыслью сновидения». Вместе с искажениями, усложняющими его, оно представляет собой значение сновидения:

«Сновидение ... не бессмысленно, оно не абсурдно; оно не предполагает, что часть нашей души спит, а другая начинает просыпаться. Сновидение – полноценное психическое явление. Оно – исполнение желания. Оно может быть включено в общую цепь понятных нам психических актов бодрствующего человека; оно выстраивается в процессе очень сложной умственной деятельности» (*там же*, с.101).

Фрейд также говорит в конце шестой главы:

«В психической деятельности по построению сновидения можно выделить две различные функции: выработку мыслей, скрывающихся за сновидением, и их трансформацию в содержание сна. Мысли, скрывающиеся за сновидением, совершенно рациональны и создаются с использованием всех психических способностей, которыми мы обладаем. Они принадлежат к числу мыслительных процессов, которые не проникают в сознание, – тех процессов, из которых путем некоторых модификаций возникают также и наши сознательные мысли» (*там же*, с.360).

Невозможно выразиться яснее. В отношении своего скрытого содержания мысли сновидения подобны всем нашим мыслям, которые получают языковое выражение в повествовательных формах, порождаемых нашим сознанием.

³ Эдельсон цитирует Фрейда: «Само собой разумеется, что сновидения должны быть удовлетворением желаний, поскольку не что иное, как желание заставляет работать нашу психику» (S.E., 5: 567), и комментирует: «Это утверждение в работах Фрейда может с некоторой натяжкой рассматриваться как аксиома общей теории человеческой деятельности» (Edelson, p.46).

Конечно, тот же самый текст предупреждает нас (и примечание, добавленное в 1925г. /р.506/, усиливает это предупреждение), что проблема сновидения – это вовсе не проблема скрытых мыслей, а проблема работы сновидения, с помощью которой эти бессознательные мысли трансформируются в явное содержание сна. И такое построение сновидения «свойственно жизни сновидения и является определяющим для нее» (р.507). Это утверждение является пробным камнем всей лингвистической теории. Но, по крайней мере, не слишком самонадеянно говорить о том, что «сновидения заняты попытками решить те проблемы, с которыми сталкивается психика» (р.507, прим. добавлено в 1925г.), поскольку именно однородность сознания и бессознательного делает возможным сам психоанализ, в том смысле, что скрытые мысли, как и всякие мысли, родственны языку.

Следовательно, семиотический характер сновидения получил бы солидное подтверждение, если бы удалось показать, что работа сна включает в себя процессы, аналогичные процессам функционирования языка. Однако Фрейд, на первый взгляд, опровергает такие попытки, подчеркивая:

«Деятельность сновидения вовсе не небрежнее, не слабее и не менее исчерпывающая, чем бодрствующая мысль: она представляет собой нечто совершенно отличное в качественном отношении и потому не может быть даже сравнена с нею. Она не мыслит, не считает, не судит, – она ограничивается одним только преобразованием» (*там же*, с.360-361).

Выражение «работа сна» специально подчеркивает, что речь идет о *механизмах*, описание которых отсылает к квази-физическому языку: конденсация есть один из видов сжатия; смещение есть перенос энергии и т.п.

Ни один читатель Фрейда не может избежать вопроса о том, должен ли этот язык пониматься буквально или метафорически. Лингвистические переформулировки теории являются попыткой истолковать энергетический язык во втором смысле. Энергетические метафоры неизбежны как раз потому, что работа сна включает семиотические процессы, которые были расстроены. Но эти расстроенные процессы тем не менее являются семиотическими. Доказательством является сама возможность аналитической работы, которая движется в обратном направлении – восстановления, и которая разворачивается целиком в дискурсивной среде. Так, при анализе конденсации обнаруживается ее семиотический статус как формы сокращения (лаконизма), и открываются различные цепочки мыслей, элементами которых служит конденсированное представление. То, что Фрейд настаивает на выражении «цепочка мыслей», является подтверждением того, что конденсация – это сгущение мыслей, случай сверхдетерминации, при котором каждый из элементов сновидения оказывается «сверхдетерминированным», то есть

представленным в мыслях сновидения множество раз» (S.E., 4: 283). Поэтому конденсация является одной из форм искаженного представления, а вовсе не физическим механизмом⁴.

Элементы, оставшиеся в сокращенном содержании, составляют центральные точки, к которым стягивается большинство мыслей сновидения. Следовательно, то, что подвергается конденсации – это не предметы, а значения.

Наиболее простым примером является случай, когда некое лицо принимает на себя функции коллективного образа. Достаточно того, чтобы ассоциативным цепочкам удалось расчленить фигуру сна на первоначальные элементы, которые имеют имена и поддаются точному описанию, чтобы вернуть конденсации ее семиотический статус множественной сверхдетерминации элемента, общего для нескольких ассоциативных цепочек.

Лингвистическая интерпретация смещения на первый взгляд кажется более трудной, поскольку смещение является переносом психической энергии и поэтому требует объяснения экономического типа. Чтобы избежать цензуры, вызванной сопротивлением, элемент, очень далекий от аффективного интереса – и, следовательно, от запрещенного представления – получает значение, первоначально закрепленное за этим аффективным представлением. Поэтому смещение наилучшим образом может быть выражено именно в терминах переноса энергии. И все же смещение не может обойтись без лингвистической структуры, что подтверждается обратной операцией, заключающейся в восстановлении распределения элементов вокруг центральной проблемы или основной идеи.

В состоянии бодрствования дискурс также состоит из иерархии тем, в которой различаются доминирующие и второстепенные темы, а также отношения логической близости-удаленности внутри пространства дискурса.

Эти замечания, основанные на многочисленных примерах сновидений, проанализированных Фрейдом в работе «Толкование сновидений», дают первое представление о недавних попытках соотнести лингвистический аспект работы сна со структурами и процессами, открытыми современной лингвистикой. Авторы этих попыток проделали не только оригинальную работу, но и освободили нас от тех предрассудков в отношении функционирования языка, от которых не был свободен и сам Фрейд.

Очевидно, например, что Фрейд был в плену представлений о том, что язык представляет собой номенклатуру слов, понимаемых как этикетки, которые образуются из следов памяти, оставленных воспринимаемыми предметами. Кроме того, его привлекали эволюционные теории, выводящие происхождение языка из выражения

⁴ «Не только элементы сновидения различным образом детерминируются мыслями сновидения, но и отдельные мысли сновидения представлены во сне различными элементами» (*там же*, с.237).

примитивных эмоций. Так, он полагал, что возвращение от сновидения к более примитивной онтогенетической и филогенетической стадии привело бы язык также к более примитивной стадии, на которой слова имели бы противоречивые значения, отражающие амбивалентные силы⁵.

Возможно, Фрейд также ничего не знал об идее языка, понимаемого как группа означающих, определяемых через свои различия внутри системы. Не знал он, вероятно, ни о самом разделении на означающее и означаемое, характеризующем лингвистический знак, ни о возможностях разъединения, лингвистического перемещения и подмены, которые допускает эта двухэтажная конструкция. Фрейд, который описал в знаменитом эпизоде с катушкой, как создается господство утраченного объекта в игре присутствия и отсутствия, не обладал семиотической теорией, позволяющей говорить об этом присутствии и отсутствии.

Он, очевидно, не понимал многозначности слов в естественных языках и использования этой многозначности в поэзии и шутках; так что Фрейд, будучи мастером психоаналитического толкования *острот*, не имел для их объяснения адекватной лингвистической модели. Он не знал ни о той конвенциональной структуре, которая лежит в основе самого элементарного обмена репликами, ни о том символическом порядке, в который каждый из нас вступает, когда начинает говорить, и который конституируется самим этим речевым соглашением. Наконец, и, возможно, это самое важное, ему были незнакомы те риторические структуры, которые управляют использованием дискурса в конкретной ситуации.

Я остановлюсь только на последнем пункте – риторических возможностях речи, – потому что именно на этом уровне прогресс науки о языке обнаруживает глубокое родство с психоанализом, что служит одновременно и развитию лингвистической теории, и поиску более адекватной. С этой точки зрения один из наиболее значительных вкладов лингвистики в психоаналитическую теорию сделал Роман Якобсон своими понятиями метафоры и метонимии. Этот выдающийся лингвист показал фактически, что оппозиция, выраженная на уровне двух классических фигур риторики – тропа по сходству и тропа по смежности, – в действительности проявляется во всех языковых операциях. Любой лингвистический знак предполагает два типа организации – комбинацию и селекцию. Поэтому можно разместить на двух ортогональных осях комбинации и селекции все феномены, несущие в себе черты либо соединения по смежности, либо группировки по сходству (при этом любой отбор производится в сфере подобия). Далее, чтобы различить эти два семейства операций, говорят о метонимических и метафорических процессах. Эти операции имеют место на всех уровнях – фонологическом, синтаксическом и семантическом – и являются основой противоположности индивидуальных стилей, литературных, пластических и ки-

⁵ См. «Противоречивый смысл примитивных слов» (S.E., 11: 151-61).

нематографических форм. Якобсон также различает эти противоположности в бессознательных символических процессах сновидений, описанных Фрейдом. Он предполагает отнести смешение (аналогичное метонимии) и конденсацию (аналогичную синекдохе) к фигурам смежности, а идентификацию и другие символические процессы – к фигурам сходства.

Жак Лакан, напротив, распределяет эти полюса по-другому, смело отождествляя смещение с метонимией, а конденсацию – с метафорой. Но эти расхождения не столь важны, как сама попытка покончить с биологизмом и бихевиоризмом, присущими пост-фрейдскому психоанализу, и «возвратиться к Фрейду», рассматривая не только аналитическую ситуацию, но и операции бессознательного, которые теория пытается исследовать систематически, внутри уникального «поля речи и языка»⁶.

Характеризуя процесс лечения как движение от пустой речи анализируемого к полной речи, к «принятию субъектом своей истории, воссоздаваемой речью, обращенной к другому человеку» (*Lacan*, p.134), Лакан без колебаний отождествляет развитие сна с его риторикой:

«Эллипсис и плеоназм, гипербатон или силлепсис, повторение, приложение – все это синтаксические смещения; метафора, катахреза, антономазия, аллегория, метонимия и синекдоха – это семантические конденсации. Фрейд научил нас читать в них различные направления, в которых субъект изменяет свой галлюцинаторный дискурс с целью показать или похвалиться, притвориться или убедить, оспорить или соблазнить...» (*Lacan*, p.146)⁷.

Следовательно, теория нисколько не противоречит конкретному открытию психоаналитической практики, и мы можем сказать, что «бессознательное – это часть конкретного трансиндивидуального дискурса, в которой субъект не может восстановить последовательность своего сознательного дискурса». А также:

«Бессознательное есть та часть моей истории, которая отмечена пробелом или ложью, то есть глава, подвергнутая цензуре. Но истина может быть восстановлена; чаще всего она уже записана где-то еще» (*Lacan*, p.136).

Что же касается аналитического метода, то «его средства являются речевыми, поскольку речь придает смысл человеческим действиям; его область – это область конкретного дискурса как поля трансиндивидуальной реальности субъекта; его процедуры являются историческими, поскольку история обеспечивает проникновение истины в Реальное» (*Lacan*, p.134-35).

⁶ Если следовать названию одной из наиболее важных статей Лакана: «Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse» (*Ecrits I*; p.111-209).

⁷ Рассматривая симптом, Лакан говорит: «Симптом целиком разрешается в анализе языка, поскольку он структурирован как язык; он, другими словами, и есть язык» (p.147).

То, что прежде было сказано Фрейдом в отношении мыслей сновидения, подтверждается теперь глобальным переопределением мысли как того, что существует везде, где существует символическая организация. Та часть, которая отрезана от нас, есть отрезок истории, который уже был истолкован:

«Мы учим субъекта распознавать, как его бессознательное является его историей. То есть мы помогаем ему осуществить сегодняшнюю историзацию тех фактов, которые уже определили некоторые поворотные точки в его существовании. Но если они сыграли такую роль, то именно как факты истории, то есть будучи определенным образом поняты или в определенном порядке подвергнуты цензуре» (*Lacan*, p.139).

Это понятие первичной историзации позволяет распространить законы дискурса и символизации на все пространство психоанализа. Это не означает, что все в человеке есть дискурс, но что все в психоанализе есть речь и язык.

Такие авторы, как Маршалл Эдельсон, который следует за Ноамом Хомским, а не за Соссюром и Якобсоном, не говорят ничего принципиально иного. Они отличаются лишь использованием другой лингвистической модели. Они заявляют, что у трансформационной и генеративной лингвистики больше сходства с процедурами бессознательного, чем у структурной модели. Но «Пролегомены к теории интерпретации»⁸ ничем не выделяются, когда дело доходит до рассмотрения «Пустой и полной речи субъекта»⁹: аналитик показан как слушающий и интерпретирующий феномены семиотической природы, в то время как анализируемый захвачен символическими конструкциями своего детства.

Новым является определение «лингвистической способности», требующейся для расшифровки семиотических построений. Эта способность описывается как интернализация ряда трансформационных правил, которые могут быть предметом теории языка и символических систем.

Если мы рассмотрим это утверждение относительно обсуждавшейся выше проблемы, а именно возможности найти лингвистический эквивалент описанной Фрейдом «работы сна», – то мы сразу же увидим привлекательность заимствования трансформационной модели Хомского. Лингвист фактически озабочен проблемой, аналогичной проблеме психоаналитика: как объяснить поверхностную структуру предложения со свойственной ему неопределенностью в терминах глубинной структуры. Точно так же, как конденсированное представление является пересечением нескольких мыслительных цепочек, «неопределенное предложение имеет одну поверхностную структуру, но столько различных глубинных структур, сколько у него значений» (*Edelson*, p.76).

⁸ Название одной из частей работы Эдельсона «Язык и интерпретация в психоанализе».

⁹ Первый раздел статьи Лакана «Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse».

Таким образом, представляется вполне удачной идея прояснить в терминах трансформационной лингвистики те операции, с помощью которых мысли сновидения трансформируются в явное содержание. Это будет верно, в первую очередь, при интерпретации отклоняющихся форм, к которым субъект вынужден прибегать, чтобы вызвать значимые представления. Но любая отклоняющаяся форма предполагает систему правил, нарушение которых оказывается допустимым. И психологическая интерпретация – это интерпретация по преимуществу значимых отклонений, которые можно сравнить с формами «лингвистической вольности», характеризующими поэзию (*G.N.Leech, in Edelson, p.108*).

На этом я завершу обсуждение лингвистического переосмысления теоретического аппарата психоанализа. Сказанного достаточно, чтобы дать представление о направлении поиска точки соприкосновения между лингвистикой и психоанализом¹⁰.

СЕМИОТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАЗА

Нижеследующие размышления сконцентрированы вокруг понятия образа. Они представляют собой критику лингвистического переосмысления психоаналитической теории, но лишь частично, поскольку основную часть приведенных выше аргументов следует сохранить. Однако я попытаюсь развернуть их в другом направлении. Первый из перечисленных тезисов делает вывод о лингвистическом характере описанных феноменов, исходя из их семиотического строения. Я думаю, что было бы неверно полагать, что все семиотическое сводится к лингвистическому. Однако столь же ошибочно считать, что образ не является феноменом семиотического порядка. Поэтому я попытаюсь прояснить именно это семиотическое измерение образа. К сожалению, теории, которыми мы располагаем на сегодняшний день, вряд ли позволят нам признать это семиотическое измерение, поскольку мы остаемся наследниками традиции, рассматривающей образ как остаток восприятия или след впечатления. Следовательно, не имея подходящей теории образа, психоанализ оказался перед следующей альтернативой: либо признать роль образа в психоанализе, не понимая его семиотического измерения, либо признать это семиотическое измерение, слишком поспешно приравняв его к области языка.

Моя рабочая гипотеза заключается в том, что сфера дискурса, соответствующая открытию психоанализа, – это не столько

¹⁰ Совпадения между Эдельсоном и Лаканом, как я показал, более важны, чем их очевидные различия. Например, роль сходства в том, что Эдельсон называет «презентацией» (следуя за Сюзанной Лангер), и что он противопоставляет «репрезентациям», позволяет утверждать: «Способность психоаналитика интерпретировать презентации зависит от его чувствительности к возможностям метафоры, его отзывчивости к сходствам и его способности распознавать классификации, модели и значимые формы» (*Edelson, p.84*). Далее, используя проведенное Кацем различие между «предрассудком» (являющимся частью глубинной структуры) и «предположением» (чем-то, что слушатель приписывает говорящему в ситуации дискурса), он замечает: «Здесь мы оказываемся в области того, что Кац называет риторикой. Областью риторики является не то значение, которое воспринимается как смысл или глубинная структура, а то, которое выражено одним из вариантов поверхностной структуры» (p.87). Очевидно, последнее замечание напоминает перечисление Лаканом риторических фигур, которые вводит в игру бессознательное.

лингвистическая сфера, сколько сфера воображения в целом. Признание этого измерения воображения означает одновременно требование теории, соответствующей образу, и содействие в установлении полного признания его семиотического характера.

В своей критике лингвистических переформулировок психоанализа я не буду касаться тех возражений, которые обычно звучат против них: что они не учитывают динамические и экономические аспекты бессознательных феноменов, что они ничего не говорят об аффектах, тогда как энергетический аспект бессознательного невыразим в языке. Однако в заключение я выскажу предположение, что, возможно, теория воображения лучше объясняет как семиотические, так и динамические аспекты психоанализа, чем лингвистическая теория. Поэтому моя критика останется в рамках тех ограничений, которые установлены теоретиками лингвистического подхода.

Я начал с утверждения, что аналитическая техника делает язык полем своей деятельности и своим рабочим инструментом. Трудность для меня связана не с тем дискурсом, внутри которого разворачивается аналитический процесс, а с другим дискурсом, который постепенно утверждается через первый тип дискурса, и который он призван выявить, – я имею в виду дискурс комплексов, заключенных в бессознательном¹¹.

Нет сомнения в том, что эти комплексы имеют дискурсивную природу, что они выразимы в принципе. Поэтому аналитическая ситуация сама конституирует семиотическое измерение. Кроме того, выявленные таким образом феномены подчиняются мотивационным отношениям, которые занимают здесь то место, которое в естественных науках отводится причинно-следственным отношениям. Эти мотивационные связи непосредственно выстраиваются в историю, поддающуюся пересказу, что создает в психоанализе сюжетное повторение (удвоение). Но это не значит, что то содержание, которое таким образом превращается в язык – или, лучше, выражается в языке, – является или должно быть языковым. Наоборот, поскольку уровень выражения, соответствующий бессознательному, не является языковым, работа интерпретации сталкивается с трудностями и представляет собой настоящее лингвистическое достижение.

1. Образ как работа сна

Фрейд непосредственно обращается к этой проблеме в разделе С шестой главы «Толкования сновидений», озаглавленном «Die Darstellungsmittel des Traums» (G.W., 2/3: 315). Стандартное издание переводит это как «Средства представления в сновидениях»¹². Он начинает с того, что интерпретация сновидения включает в себя многочисленные логические отношения, такие как парадоксы и про-

¹¹ Я заимствую эти понятия из статьи Бенвениста «Remarques sur la fonction du langage dans la decouverte freudienne», в его «Problemes de linguistique generale» (p.75-87).

¹² Имеется в виду собрание сочинений Фрейда на английском языке. В русском переводе 1913г. – «Средство изображения в сновидении». – *Прим. перев.*

тиворечия, а также причины и следствия. Фактически, в ней появляются все логические отношения, которые находят соответствующее выражение в синтаксисе наших естественных языков – если, потому что, тождественно, хотя, или/или и т.д. Но совсем не случайной характеристикой сновидений является то, что «сновидение не располагает средствами для изображения этих логических связей между мыслями. Большей частью сновидение оставляет в стороне эти связи и подвергает переработке лишь предметное содержание этих мыслей. Толкование должно затем снова восстановить эту связь, уничтоженную работой сновидения» (Фрейд, с.258). Эта неспособность сновидения выразить логические отношения не является простым недостатком соответствующих средств. Это обратная сторона позитивного свойства, которое Фрейд называет «психическим материалом (psychisches Material), из которого создаются сновидения» (там же). Этот психический материал, который можно сравнить с пластическими средствами живописи и скульптуры, есть не что иное, как образ, взятый в его способности выражать пластически идеи сна, что обозначает термин *Darstellung* (который первоначально означал *exhibitio*)¹³. Мысли сновидения, таким образом, становятся (и называются) «образами сновидения». Поэтому я назвал этот раздел «Образ как работа сна». Образ, фактически, тождественен работе сна. Это и есть процесс трансформации мыслей сновидения в явное содержание. Поэтому Фрейд говорит о «рассмотрении способности представления». Этот процесс, действующий подобно кантовской схеме, является основным способом подобрать соответствующий образ к понятию.

Именно это предположение я буду рассматривать в оставшейся части доклада, пытаясь выявить другие аспекты процесса превращения мыслей сновидения и символов в образ, как это описано в «Толковании сновидений».

2. Семейство образов

До сих пор мое изложение разворачивалось в сфере образов сновидения. Но сновидение заставляет нас постоянно обращаться к другим проявлениям жизни воображения: фольклору, легендам, мифам, литературе, изобразительным искусствам и т.п. В каком смысле мы можем отнести их к тому же уровню психических операций? Точнее, есть ли какие-то общие черты у того уровня операций, который я в другой работе назвал «пространством воображения» (Ricoeur, 1976)?

Признать единство этого пространства не так просто из-за разнообразия ситуаций, в которых оно проявляется (во сне и в состоянии бодрствования), из-за разнообразия уровней его функционирования (от галлюцинаций до произведений искусства) и из-за разнообразия средств

¹³ «Подобно тому, однако, как и живописи удалось выразить речь изображаемого лица и его чувства иначе, чем при помощи записи, так и сновидение нашло возможность воспроизводить некоторую связь между своими мыслями через посредство соответствующей модификации своего своеобразного изображения» (Фрейд, с.259).

(язык, чувственные образы, произведения живописи, скульптуры и т.п.). Словарь самого Фрейда выдает эту неуверенность.

Например, термин *Phantasieren* (фантазии), с которым мы до этого не сталкивались, говоря пока только об образах сновидения (*Traumbilder*), колеблется между двумя значениями. Первое и более узкое относится к символическим конструкциям раннего детства, названным также «первичными (примитивными) сценами», которые представляются реальными воспоминаниями, но которые, большей частью, фиктивны. Именно это значение Фрейд использует в разделе седьмой главы при обсуждении «регрессии». Регрессия к образу представлена здесь как квази-галлюцинаторное оживление перцептивных образов¹⁴ и возрождение фантазий, выросших на почве инфантильного опыта¹⁵. Легко увидеть, что старая психология образа как оживления перцептивных следов сопротивляется психоаналитическому открытию конструктивного характера фантазии. Но по-прежнему верно, что в этом контексте «фантазия» тесно связана со сценарием инфантильной сцены.

Существует и другой смысл термина «*Phantasieren*», который в названии короткой статьи «*Der Dichter und das Phantasieren*» (1908), неудачно переведенной как «*Creative Writers and Day-dreaming*» («Писатель и фантазия», S.E, vol.9). Термин *Phantasieren* относится здесь не к реальным фантазиям, а к континууму психических продуктов, на одном полюсе которого располагаются сновидения и неврозы, на противоположном – поэтические произведения, а между ними – детские игры, мечты и фантазии взрослых, героические легенды и психологические романы. Объединяет эту область, конечно же, скрытая общая мотивация, а именно: модель удовлетворения желания (*Wunscherfullung*), представленная толкованием сновидений и распространенная по аналогии на эти разнообразные психические продукты. Но это единство мотивации не может быть установлено до тех пор, пока нам не удастся определить общий процесс опосредования с помощью образов и воображения, который можно сравнить с работой сна. Так что теперь мы должны попытаться определить важнейшие черты этого образного опосредования.

Мы уже знаем одну: она может быть названа фигуративностью (*figurability*) по аналогии с репрезентативностью (*representability*) в «Толковании сновидений». Но создание чувственного образа, соответствующего сновидению, не является единственным выражением этой фигуративности. Мы видим, что фигуральный язык, одинаково характерный для шуток и сновидений, равным образом является частью этой фигуративности. Язык тоже фигуративен. И фигуративность относится также к пластическому представлению. Так, например, в «Моисее и Микеланджело» (1914, S.E., 13: 211-36) представлен эквивалент

¹⁴ «При регрессии материя мыслей сна разлагается на составные части» (5: 543, выделено Фрейдом).

¹⁵ «Согласно этому воззрению сновидение можно определить как измененное, благодаря перенесению на новый материал, замещение эпизода детства» (Фрейд, с.391).

фигуративного дискурса в камне. Кроме того, этот анализ замещает конфликт, воплощенный в камне, дискурсом¹⁶, и тем самым движется назад от каменной фигуры к тексту Книги Исхода, открывая воображаемый сюжет, общий для Библии и статуи.

Это последнее замечание приводит нас ко второй характеристике фантазий как способных к ряду аналогичных воплощений. Это свойство состоит в их принципиальной взаимозаменяемости. Здесь семиотический характер образа выходит на первый план. Образ обладает способностью знака замещать, занимать место или заменять что-то другое. Именно поэтому сны являются «типичными», и совсем не потому, что они оказываются общими для нескольких сновидцев, но потому, что их содержание есть структурный инвариант, который позволяет сну и мифу замещать друг друга. Фрейд понял это еще во времена своего собственного самоанализа¹⁷. Эта подвижная структура позволяет Фрейду в интерпретации сновидений свободно двигаться от сна к пословице, поэтической цитате, шутке, просторечному выражению, мифу. И это равенство между такими разнообразными способами выражения позволяет мне вернуться к моему предыдущему предположению, что образ в своей динамической функции имеет очевидное сходство с кантонской схемой, которая является не «образом» в смысле психического содержания, а процедурой или методом для того, чтобы снабжать понятия соответствующими им образами. Точно так же то, что мы называем структурным инвариантом, есть не что иное, как взаимная соотнесенность одного варианта с другим, будь то сновидение, симптом, миф или сказка. Одна из задач работы сна состоит в том, чтобы заставить этот инвариант работать в соответствии с ситуацией сна, – т.е. состоянием отсутствия подавления. А задача интерпретации – идти путем, обратным тому, каким шла работа сна, руководствуясь динамикой схематического образа.

Теперь я хотел бы назвать третью черту, помимо фигуративности и замещаемости, – черту, которая скорее подразумевается, нежели открыто утверждается в сочинениях Фрейда. Если мы вернемся к двусмысленности слова *Phantasieren* в немецком языке – двусмысленности, отраженной в использовании этого термина Фрейдом, – то разве не верно, что фантастическому как таковому свойственно обнаруживать несколько уровней и колебаться между ними?

На нижнем полюсе шкалы мы имеем инфантильные фантазии, в которых образ вовлечен в регрессивное движение, описанное в главе 6, разделе В «Толкования сновидений». Здесь образ обладает квази-галлюцинаторными чертами, но в то же время в минимальной степени является символической конструкцией, т.е. тем, что Лакан называет первичной историзацией детского опыта. На верхнем полюсе шкалы *Phantasieren* становится ближе к *Dichten*. Это в каком-то смысле фикция –

¹⁶ «То, что мы видим перед собой, – это не начало волевого действия, а то, что остается от движения после того, как оно завершилось» (13: 229).

¹⁷ Письмо к Флиссу от 15 октября 1897г. (S.E., 1:265).

в смысле вымысла, воплощенного в камне, на холсте или в языке. В то время, как «инфантильная сцена не способна вызвать свое собственное возрождение и вынуждена довольствоваться повторением в сновидении» (S.E., 5: 546), вымысел имеет общественное бытие как произведение искусства или языка.

Пример этой полярности воображения можно найти в статье Фрейда «Леонардо да Винчи и воспоминания его детства» (S.E., 11: 63-137). Зависимый тип Phantasieren находит выражение в фантазии о стервятнике, открывающем рот младенца своим хвостом. Эта фантазия демонстрирует свою способность к замещению в серии эквивалентных картин, начиная с образа материнской груди и кончая иероглифическими изображениями и мифологическим образом фаллической матери, а также некой инфантильной теорией полов и т.п. Творческий тип Phantasieren находит выражение в создании – в строгом смысле этого слова – различных выражений знаменитой леонардовской улыбки. Сам Фрейд предполагает, «что в этих фигурах Леонардо отверг (Verleugert) неудачи своей любовной жизни и одержал над ними победу в своем искусстве (und Kunstlich uberwinden)» (p.118).

Если моя интерпретация Phantasieren справедлива, то можно сказать, что в этой оппозиции между простой фантазией и творчеством Фрейд резюмировал загадку сублимации, которую, как ему казалось, он не сумел разрешить. Но, в любом случае, мы можем добавить к экономической шкале регрессии-сублимации шкалу Phantasieren и поместить эту шкалу в особое пространство фантазии¹⁸.

В заключение я хочу еще раз отметить, что, подчеркивая связь психоанализа с этим измерением фантазии, я не намерен опровергать лингвистические переформулировки психоанализа. То, что должно быть сохранено в них, – это упор на семиотический характер выражений бессознательного. Поскольку в нашем распоряжении нет теории воображения, которая отдает должное этому семиотическому измерению, естественно, что мы стремимся приписать языку все, что имеет семиотический характер. Но специфическим для открытия психоанализа является то, что сам язык работает на изобразительном уровне. Это открытие – не только призыв к созданию соответствующей теории воображения, но и существенный вклад в нее.

¹⁸ В этой статье я старался не затрагивать фрейдовскую метапсихологию, чтобы дать возможность психоаналитическому опыту скорректировать теорию. Тем не менее мы могли бы сказать, что Фрейд очень хорошо понимал, что язык как таковой не является ключевым вопросом психоанализа и что по этой причине он называл *Verstellung* мысленными «представлениями» (*Repräsentant*). Я использую это выражение, заимствованное из немецкой философской традиции, как эквивалент семиотического измерения, только частично лингвистического, существенно фигуративного, но, в то же время, сигнификативного. Обсуждение фрейдовского использования понятия *Vorstellung*, главным образом в метапсихологических трудах (см. в моих работах «Фрейд и философия» (p.115-150) и «Психоанализ и произведение искусства» (p.19-21). Решающий вопрос метапсихологии заключается в том, проясняет ли признание особого образного уровня тех процессов, которые описаны Фрейдом, экономические аспекты психоанализа, если учесть, что чисто лингвистическая теория, как мне кажется, делает их почти невразумительными.

ЛИТЕРАТУРА

- Benveniste E. Problemes de linguistic generate. Paris: Gallimard, 1966.*
- Edelson M. Language and Interpretation in Psychoanalysis. New Haven: Yale University Press, 1975.*
- Freud S. Standard Edition of the Complete Psychological Works. London: Hogarth, 1953-66.*
- «Extracts from the Fliess Papers» (1950 [1892-99]), vol.1.*
- Studies on Hysteria (1893-95) (with J.Breuer), vol. 2.*
- The Interpretation of Dreams (1900-01), vols. 4, 5.*
- «Creative Writers and Day-Dreaming» (1908), vol. 9.*
- «Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood» (1910), vol. 11.*
- «The Antithetical Meaning of Primal Words» (1910), vol. 11.*
- «Remembering, Repeating and Working-through» (1914), vol. 12.*
- «The Moses of Michelangelo» (1914), vol. 13.*
- Lacan J. Ecrits 1. Paris: Seuil, 1966.*
- Ricoeur P. Freud and Philosophy. New Haven: Yale University Press, 1970.*